

Раздел I

ИЗ ИСТОРИИ

ЕВРОПЕЙСКОГО ПЛАТОНИЗМА

Р. В. СВЕТЛОВ

СОКРАТ* (Эссе)

«Критон, мы должны Асклепию петуха.
Так отдайте же, не забудьте...»

I

О Сократе было много славословия, а в последнее время и немало хулы. В конце концов образ «единственного мудреца», «человека-диалога» настолько въелся в человеческую культуру, что и при положительном, и при отрицательном отношении к нему обратился в штамп. Живой Сократ исчезает за массой анекдотов о его жизни, за философскими спекуляциями или герменевтическим медитированием. Да, Сократа сопровождал даймоний (демон), но даже неоплатоники не превратили его в полубога, несмотря на явный соблазн этой идеи. Да, Сократ был мудр, но он никогда не претендовал на роль политической Кассандры. Да, Сократ был Философ с большой буквы, но он ничего не писал, не создал учения, а сократические школы стали возникать лишь через несколько лет после его смерти.

Но самое парадоксальное заключается в том, что этот смеющийся человек только смертью доказал величие дела своей жизни. Удивительно, но только после смерти воспоминание о каждом его шаге и слове стали вызывать трепетное внимание, а при жизни даже ближайшие друзья не оказывали ему необходимой поддержки и одобрения.

Вы скажете: «Велика ли беда! Сколько раз люди вспоминали о призрачности только после смерти человека, сделавшего для них что-то очень важное!»

* Написано в 1991 г.
© Р. В. Светлов, 2000

Но, рассуждая о Сократе, необходимо помнить страшный факт: Сократа судили показательным судом, судили в его лице определенный образ жизни и образ мысли, а именно — софистику. Сократ был осужден как софист, и лишь его смерть поставила жирный знак вопроса над приговором афинского суда.

Впрочем, можно рискнуть и посомневаться даже в этом знаке вопроса. Платон — великий ученик и неустанный апологет — заставляет Сократа в одном из своих диалогов задаться вопросом: а можно ли преступить законы? И тот приходит к выводу: нельзя. Законы — это устой общества и государственная справедливость. Сократу предлагают бегство из тюрьмы, но он отказывается от него, не желая преступить через уложения своего полиса.

Но ведь это означало, что афинский мудрец признал решение суда! Хороши законы или нет — вопрос в данном случае вторичный; если человек исполняет их — это значит, что он считает их высшей инстанцией, перед вердиктом которой склоняет голову: «Да, виновен!». Как бы парадоксально ни звучало это сейчас, но чтение диалогов, отнесенных Платоном к последним дням жизни Сократа, чтение Ксенофонта приводят к выводу, что настроение главного действующего лица этих произведений можно выразить словами: «Так и должно быть». Сограждане еще могли ошибаться, принимая Сократа не за того, кем он был, но Закон ошибиться не мог. Сократ — великая трагическая личность, исток трагедии был прежде всего в нем, а не в ограниченных, перепуганных поражениями и междоусобицами афинянах.

Сократа осудили как софиста. Зададимся вопросом кощунственным, однако необходимым: «А быть может, он и был софист?» Софист в чем-то необычайно важном, бросавшемся в глаза любому встречному? Действительно, почему человека, которого десятки последующих поколений почитали как противника софистики, современники приняли за образец последней? Так ли уж были слепы афиняне?

Пожалуй, нет. Сократ во многом отличался от племени «учителей мудрости», но ведь и сами софисты здорово различались между собой! Сравните мудрого Протагора с самодовольным Гиппием, или Критием, этим убийцей во главе государства, и вы найдете, что внешне их сближение достаточно условно. Сократ был оригинален, но ведь оригинальны были и другие! Сократ, правда, не брал за беседы денег, не забирался так глубоко в филологические изыскания или проблемы риторики, но все остальные интересы софистов (в том числе и математика, и политика) были ему небезразличны. Наконец, способ рассуждений Сократа, по мнению рядового афинянина, ничем не отличался от софистического.

«Как же так! — спросите вы. — А где же майевтика, диалектика и прочее?»

Никуда они от нас не денутся. Всему свое время. Сейчас же попрошу: забудем на некоторое время красивые слова о «сократовском методе», о диалогах «зрелого» Платона, о гегелевских, хайдеггеровских толкованиях «сократовского переворота». И что останется? Останется странное чувство неудовлетворенности при знакомстве с сочинениями Ксенофонта или раннего Платона, в которых, по общему убеждению, дан образ «истинного» Сократа. Есть Учитель, но почти невозможно понять, чему он учит. Более того, присмотритесь к способу рассуждений, и ваше недоумение только возрастет. Сократ запутывает собеседников, подменяет понятия даже более лихо, чем софисты. Вот примеры.

1. Диалог «Гиппий меньший». Провозглашая знаменитый принцип: «добродетель есть знание», Сократ приходит к парадоксальному выводу: лжец, который сознательно говорит неправду, добродетельнее человека незнающего. Первый знает истину, но скрывает ее ради каких-то своих целей. Второй же ее не знает — следовательно он зол. Одиссей добродетельнее Ахилла. Откуда парадокс? Из буквального понимания исходного принципа. Чтобы спасти его, нужно спросить: «А всякое ли знание — добродетель?» Такой вопрос будут ставить и Платон, и Аристотель, и стоики. Но не Сократ. Последний отождествляет объемы обоих понятий, отчего и получается софистическая путаница, подмена добродетели любым эмпирическим знанием.

2. Диалог «Евтифрон». Сократ занят, вроде бы, благим делом. Он пытается остановить человека, который, превратно толкуя идею благочестия, подает в суд на своего отца, совершившего непредумышленное преступление. Однако Сократ добивается своего при помощи следующего рассуждения: если благочестиво то, что угодно богам, то как определить, что им угодно? Боги народной религии соперничают друг с другом, вредят, ненавидят (вспомните «эллинскую Библию» — поэмы Гомера). Где гарантия того, что угодно Зевсу будет угодно Гере, а угодно Апполону — Гефесту? Нет гарантии. И Евтифрон оказывается во власти сомнений.

Но какой ценой! Сократовское рассуждение уничтожает на самом деле всякую возможность определения благочестия. Ведь боги (а кто еще?) являются судьями человеческого поступка. Однако если «в богах согласия нет», то где же гарантии справедливости их суда? Значит необходимо искать еще более высокую субстанцию? Тогда какую? Но о ней нет ни слова в диалоге. Нам вместе с Евтифроном остается сделать чисто софистический вывод: «Дело сложное. Поступай как знаешь (как выгодно). . .»

И так почти везде, даже в защитительной речи Сократа! Пусть такое толкование выглядит чересчур буквальным, однако едва ли афиняне могли воспринимать рассуждения Сократа как-то иначе. Закономерным выглядит возмущение Гиппия: «Ну, Сократ, вечно ты сплетаешь какие-то странные рассуждения и, выбирая в них самое трудное, цепляешься к мелочам...»

А что взамен? Сократ вводит в сомнение, заставляет собеседников отказаться от исходных положений, но предлагает ли им взамен что-то определенное? Нет. Едва ли не все «сократические диалоги» Платона кончаются неопределенностью. Она может выражаться или в знаке вопроса, или в утверждении, что обычный способ рассуждений неприменим для исследуемого предмета, или в решении собеседников всерьез заняться обучением мудрости. Но когда? В будущем, следовательно, за рамками диалога.

«Ничего страшного, — скажет кто-нибудь. — Постановка вопроса — важнейший шаг для его разрешения. . . » К сожалению, эта бытовая мудрость не подходит для ситуации, в которой оказался Сократ. Ибо афиняне к моменту суда над ним воспринимали любую философическую неопределенность крайне болезненно. И имели к тому основания.

Бросим взгляд на историю досократической философии. Чтобы быть кратким — оговорюсь заранее — мне приходится гиперболизировать многое в ее итогах. Но утешает тот факт, что и афинянам на рубеже V—IV вв. до н. э. философия явилась в крайне гиперболизированном виде. Итак, школы, существовавшие до Сократа, часто называют «натурфилософскими». Ясно, что этот термин имеет очень мало общего с новоевропейской «натурфилософией». Под «натурой» (природой) в случае досократиков понимается «фюсис» — термин, который перевести на русский язык достаточно сложно. Это то самое естество всех вещей и событий, которое является их первоосновой, начальным пунктом генезиса, и самим этим генезисом. Можно сказать, что в «фюсис» оказались соединены многие будущие категории европейской мысли — и субстанция, и сущность, и субстрат, и творческая энергия.

Раскрывали «фюсис» досократики как через представления о природных стихиях, так и через определения разума, однако при этом во всех их учениях сохранялась одна особенность. Я назову ее «амбивалентностью» природы. Последняя напоминает Протея, произвольно меняющего свой облик, или Анаксагоровы гомеомерии, при внимательном рассмотрении которых оказывается, что каждая гомеомерия содержит в себе все материальные субстанции. Эта амбивалентность вовсе не носит еще этический характер, более того, за ней стоит совершенно истинная интуиция единства мира, причем единства многосложного, а, значит, трудновоспроизводимого в слове. Поэтому «первоосновой» Гераклита, например, является «Огонь», выражающийся как «Логос», и в то же самое время «Логос», выражающийся как «Огонь». Блестящая природная диалектика Эфесца очень рельефно показывает протееобразность его исходного космического начала. Нечто схожее получается и в пифагореизме, который мыслит источником всего сущего — Число, а источником числа — единицу. Единица (монада) — это предел, но она же парадоксальным образом содер-

жит в себе потенцию беспредельного — двоицу, из синтеза которых и возникает первое Число — троица.

Ближе всего, по мнению позднейших античных мыслителей, к пониманию сути «фюсис» подошли элеатские философы. Они стали использовать для описания ее ставшие затем классическими определения «единого» и «многого». Они дали массу существенного для последующего развития европейской мысли (например, принцип разделения «сферы истины» и «сферы мнения»), однако при описании природы всего сущего они ограничились утверждением ее непротиворечивости, которую, впрочем, доказывали при помощи парадоксов (апории Зенона), где противоречие становилось движущей силой доказательства.

Рассуждения эти можно было бы продолжить, разбирая учения милетцев, Эмпедокла и прочих, однако результат оказался бы схожим. Создавая величественные космологии, досократические мыслители были необычайно осторожны и туманны при рассуждениях о первооснове Космоса. А я бы сказал и более резко: они терялись при рассуждениях об Абсолюте. И, наверное, не могли поступать иначе, так как Абсолют воспринимался ими через «природу», понятие текучее и амбивалентное.

Однако Слово никогда не произносится в пустоте. Амбивалентность Абсолюта является не только сугубо философской проблемой. Она обязательно скажется в Деле. Пусть не в жизни досократиков (на их нравственный облик я и не пытаюсь посягнуть). Пусть не при жизни досократиков. Но сказаться оно должно — ибо именно представление об Абсолюте конструирует собой отношение к жизни (то, что мы называем мировоззрением, а еще — жизненной позицией).

И вот появились софисты — эллинские просветители, добропорядочные учителя мудрости за разумную плату. Софисты не создавали космологий (хотя с охотой рассказывали о космологиях, созданных их великими предшественниками), не рассуждали о «фюсис», их интересовали, казалось, более «человеческие» проблемы, связанные как с формой мысли (математика, риторика, филология), так и с формой жизни (политика). Однако в самом главном софисты — «натурфилософы», они доводят принцип «фюсис» до абсурда. Чего стоит, например, следующая фраза учнейшего мужа Протагора: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют». Это не гуманистическая максима, в качестве каковой часто воспринимают данные слова. Это прямое указание на то, что **произвол** человека является главным критерием оценки его поступка и вообще всего в Космосе. Да, **человек** решает, что природа сущего сложна и неоднозначна. Она является в множестве обликов, уловить единственно верный среди которых не представляется возможным.

Чему в конечном итоге учат софисты? Практическому применению

Протагорова «императива». Умение доказывать свою правоту в условиях, когда критерием оценки твоих действий становится твой же произвол, а не нечто высшее — вот лучший образец софистического искусства.

Но это означает, что Слово постепенно становится Делом. Первое поколение софистов было людьми вполне благопристойными и благонамеренными. Однако уже «второе» породило Крития, главу правительства «30-ти» тиранов (и, кстати, в течение ряда лет — ученика Сократа), по приказу которого уничтожались сотни свободнорожденных афинских граждан. Одна эта фигура могла бы лечь несмываемым пятном на репутацию софистики. Но для афинян Критий являлся далеко не единственным примером зла, которое принесли «учителя мудрости». Условия для того, чтобы он встал во главе государства, создала Пелопоннесская война. А Пелопоннесскую войну Афинский союз проиграл из-за алчности и авантюризма демагогов, вождей народа типа Клеона или Гипербола, доведших город едва ли не до гибели.

Но сам институт демагогов стал возможен только лишь тогда, когда слово, произнесенное с трибуны, научилось полностью затмевать рассудок граждан. Во-первых, демагоги овладели софистическим искусством; во-вторых, софистическое искусство овладело демагогами, не борясь с их вожделием и низостью, а только подкрепляя самые мерзкие черты характера; в-третьих, сами афиняне оказались приучены смотреть не на заслуги, нравственный облик и жизненные принципы оратора, а на складность речи. Лишь ко времени суда над Сократом афиняне осознали, что демагогия — это софистика в области политического действия. Осознали и сделали вывод: именно «учителя мудрости» привели к забвению заветов эпохи Фемистокла и Аристида, эпохи, когда создавалось могущество Афин. Именно «учителя мудрости» толкнули город в пропасть.

Как бы нам ни хотелось того, философия развивается далеко не мирно и безмятежно. Природа ее такова, что она обязана выходить за пределы сугубо «теоретического разума». И тогда ей приходится доказывать свою действительность, оправдывать претензию на мудрость. Но это ведет к драме, а часто даже к трагедии. Драма досократической мысли заключалась в том, что она, интуитивно чувствуя Абсолют, потерялась в поисках адекватного Слова, истинного пути для его выражения. Это драма превратилась в трагедию Сократа, судьба которого стала исходом поисков его предшественников на лоне философии. Она превратилась в трагедию афинян, ибо каковы бы ни были социальные и прочие причины поражения Афин в Пелопоннесской войне, софистика стала для всех их мощным катализатором. И Сократ как философ, как человек, которого даже дельфийская пифия признала самым мудрым афинянином, был вынужден ответить за грех предшествующей ему мудрости.

Еще раз вернемся к исходному парадоксу: подавляющему числу со-

временников Сократа не могло и в голову прийти, что он не софист. Вспомним, как звучит постановление суда: «Сократ приговаривается к смерти за развращение молодежи и измысливание новых богов». Классическое определение зловредной деятельности софистов. Если вы хотите представить, как все это видели афиняне, почитайте комедию Аристофана «Облака». Здесь присутствует полный набор аксессуаров «эллинских просветителей»: обучение блудословию и блудомыслию, смех Кривды над Правдой, клятва Хаосом, Испареньем и Воздухом — стихиями, которые никак не могли быть гарантами клятв, и, наконец, новые боги. Совершенно удивительные не только для грека той эпохи, но даже для нас. Это Облака, «царствующие в небесах» и изображенные на сцене хором женщин. Очень точно подобран образ новых богов. Облака — вещь бесконечноликая («то они кажутся кентавром, то триерой»), совсем как натурфилософская «фюсис». Кроме того, они — еще и женщины, женская же природа для элина всегда неопределенна, размыта и потому с трудом приобщается к добродетели.

Многое в комедии, конечно, чересчур преувеличено. Но комедия живет преувеличением, и лупа, которой она пользуется, помогает рассмотреть реальное состояние дел. Тем более, если ее автор — «гениальный обыватель» Аристофан (это определение подходит к нему гораздо больше, чем к В. Розанову). Аристофан сделал главным почитателем Облаков Сократа, превратил его в записного софиста — и все это задолго до суда над ним. Он гениально предсказал будущий приговор, заставив Стрепсиада, незадачливого поклонника мудрости, сжечь «мыслильню» Сократа вместе с «мудрецом» и его учениками.

Но гениальность Аристофана только подчеркивает, что он не мог заглянуть вперед по-настоящему, не пытался разобраться, кто такой Сократ на самом деле. А мы обязаны сделать это, иначе статья обернется очередным философским разоблачением, так популярным в наши дни.

Ограничиться фразой «Сократ — софист!» нельзя. Это будет ложью, точно так же, как лжив образ «мудреца с чистыми руками и детской душой». Однако для того, чтобы понять смысл сократовской жизни, чтобы увидеть его настоящее лицо, нужно помнить: у афинян были основания для обвинения Сократа в софистике, для привлечения в его лице к суду всей философии.

II

Тиран Критий, гениальный предатель Алкивиад, образец эпатажа Антисфен, великий историк и знаменитый наемник Ксенофонт, гениальный Платон — кто только не вышел из «мыслильни» Сократа. Единственное, что объединяло их, — яркость и сила характера, непохожесть на окружа-

ющих, стремление возвыситься над ними. Самые замечательные в Афинах юноши собирались вокруг курносого мудреца, и он делал из них нечто такое, чего, похоже, не понимал сам. Ну мог ли он, честный гражданин и патриот Афин, внушить Ксенофону привязанность ко всему спартанскому? Мог ли Сократ развить в Алкивиаде стремление к царской власти? Думал ли он превратить Крития в тирана, который попытается поднять руку даже на него, своего учителя?

Конечно, Сократ искренне желал блага, однако его мудрость вела к невиданному доселе индивидуализму учеников. Он разрезал архаические полисные пути, указывая при этом на что-то высокое, но прямо не подводил к нему. И тогда каждый ученик, на свой лад, стремился туда, неся людям и радость, и горе.

У Сократа был демон, отвращавший его от неправедных поступков. Демон, сопровождавший мудреца на каждом шагу. Демон, о котором он не боялся поведать даже на суде. У учеников же был только Сократ. И хотя тот преследовал их, как, например, преследовал юного Алкивиада, вырывая его из рук сладострастных поклонников, — это не могло заменить глубочайшей сократовской веры в Благо. Той веры, для которой он и был вынужден придумать имя Демона, ибо иначе сообщить о ней другим не мог.

Не находя Слова подобно натурфилософам, Сократ, тем не менее, честно признавался в этом. Внешне его беседы и беседы софистов походили друг на друга, однако внутренняя их суть была различна.

Для «учителей мудрости» сам процесс высказывания парадоксов по поводу природы сущего и являлся наиболее адекватным воспроизведением ее. Сократ же прекрасно понимал, что парадоксов недостаточно. В результате он завершает диалоги на ноте сомнения, за которым стояло признание трудности выражения Абсолюта в словесной форме, но не софистическое пренебрежение последним. Несмотря на любовь к беседе, Сократ более чем кто-либо из «классических» эллинских философов был склонен к мудрости молчания.

Поэтому, видимо, он и определял себя как простеца, признаваясь в совершенном незнании и подводя к незнанию других. «Я знаю, что ничего не знаю», — это не констатация невежества, а высокая форма философской откровенности. Она не противоречит волевому импульсу веры, наоборот, она подкрепляет его. Что и толковывал мудрец на суде своим согражданам: «А на самом деле, о мужи, мудрым-то оказывается Бог и изречением этим (“самый мудрый — Сократ”) он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого, если вообще чего-то стоит, и, думается, при этом он не Сократа имеет в виду, но пользуется моим именем для примера, точно если бы он говорил, что из вас, о мужи, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего по правде не стоит его мудрость».

Однако форма жизни, согласная с такой позицией, — это отшельничество, если не буквальное, то духовное. Сократ же ни в коем случае не был отшельником! Наоборот, он шел к людям. Шел, словно чувствовал: «незнание» — далеко не последний возможный ответ на вопрос об Абсолюте. Словно предугадывал, что клубок «фюсис» можно и нужно размотать, высказать в слове. Иначе его вера останется лишь его верой, и ничем больше. Шел и . . . рождал очередное недоразумение.

Вся европейская культура восторженно, в один голос возглашает: «Сократ смеется над собеседниками!» Что поделаться — остается только констатировать, что даже самые прозорливые умы в этом вопросе видят не дальше обывателей-афинян. Они замечают, как ловко Сократ подвергает сомнениям убеждения своих оппонентов. Они видят его добродушную улыбку. И называют все это «сократической иронией», приписывая афинскому мудрецу низенькое желание доказать глупость собеседника — тем самым самоутвердиться за его счет. Сократа не сделаешь догматиком, но его не стоит считать и записным «разоблачителем» догм. Борьба с догматизмом — неблагоприятное занятие. Более того, она далеко не с лучшей стороны характеризует «борца». Ибо почти всегда за внешностью такого ревнителя истины сидит бес гордыни, стремление оказаться выше других. Не надо называть Сократа «мудрецом», ибо мы желаем поместить его в ряд подобных людей.

Вдумайтесь в следующий эпизод из платоновского «Федра»: Сократ восхищается прекрасным уголком природы, в который его завел юный собеседник. Тот удивлен: «Станный человек. . . Кажется мне, ты не выходишь даже за городскую стену». Сократ отвечает: «Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не учат, не то что люди в городе. . . »

Он учился у обывателей-афинян, а не смеялся над ними — вот что было сложнее всего понять и современникам, и потомкам. Сократ обладал редчайшей способностью: он видел в человеке **человека**, а не соперника. Он был неисправимым идеалистом, ибо искал в собеседнике его «лучшую часть», и обязательно находил, а затем вглядывался в нее, словно в зеркало. Не стоит смущаться того, что эту «лучшую часть» он называет разумом. Понятие разума в античной культуре имело куда более широкий смысл, чем в новоевропейской. Разум для эллина — сердцевина человека, источник благородных чувств, последняя инстанция души, его «Я». В понятии разума объединяются и мышление, и мистическое созерцание, и воля. Разум — абсолютное в душе, то, что не подвержено гибели. Поэтому только он может помочь Сократу в разрешении вечных вопросов.

И здесь нужно сказать: Сократ действительно первым понял, что такое диалог, зачем философу нужен собеседник. Второй человек — зеркало, в котором твои рассуждения отражаются именно такими, какие они есть.

Только через собеседника ты можешь оценить их. Диалог — не «двойная речь» и не «две речи». Диалог — вглядывание в себя через посредство другого. Диалог — умение высветить истинное, очистить его от субъективной примеси, которую привносит даже самое «честное» самонаблюдение. Диалог — поиск истины при помощи разума собеседника, который проходит через тот же поиск при помощи твоего разума. Поэтому подлинный диалог — монолог истины, который только человеку внешнему кажется словесной батальей. Диалог — не спор. «Народная» мудрость гласит: в споре рождается истина. Позволим себе не согласиться с этим. Там истины нет, там голая, разрастающаяся до космических размеров похоть самоутверждения. Диалог же — вещь священная, и подходить к нему следует, избавившись от оков самолюбия.

Сократ так и относится к диалогу. Он очень осторожно ведет беседу, углубляясь в детали, перебирая массу мелочей, ибо боится упустить истину, эту чуткую птицу, запуганную громогласным софистическим пустословием. И если он заблуждается, подменяет понятия, то не со зла, не с умыслом, а от неумения. Простим это Сократу — даже Платон и Ксенофонт, восторженно писавшие о нем, порой допускали элементарнейшие ошибки. До логики Аристотеля еще очень далеко, а софистическая риторика рядом и освободиться от ее дурного глаза нелегко.

Когда же Сократ видит затруднение, он не боится сказать об этом. Он признает, что выводы, к которым пришла беседа, противоречат его внутреннему чувству, его демону-вере, и предпочитает остановиться на этом противоречии, не поддаваясь соблазну поспешных (т. е. рожденных ленью души) решений.

Отсутствие окончательного Слова приводит к тому, что его беседы выглядят софистично, однако главный их герой — этический человек, даже крайне этический человек. Получается парадокс — неожиданный и даже красивый. Можно разглядывать его со многих сторон, но нужно помнить при этом: то, что является для нас игрой мысли, в судьбе Сократа стало трагедией. Странность превратила мудреца в объект пристального внимания со стороны афинян, легко переросшего в ненависть. Сократ, казавшийся согражданам софистом, призывал их к добродетели — и те в конце концов приняли это за верх софистики. Нет ничего удивительного в том, что Аристофан вывел именно его в качестве главного отрицательного героя «Облаков». Нет ничего удивительного и в смертном приговоре — Сократ, искренне обращенный к людям, Сократ, открывший Диалог, не мог донести до афинян своей веры, а в тот момент это стало виной, которую он был вынужден искупить ценой жизни.

Другое дело, что Сократ сумел превратить смерть в высший философский акт, в главное доказательство посюсторонности и действительности своей мудрости.

Вспомним обстоятельства его казни: религиозные празднества, надолго оттянувшие исполнение приговора, нарочитое ротозейство тюремщиков, неоднократные предложения бежать в соседние города. По всей видимости факт смертного приговора афинянам было достаточно. Они не слишком расстроились бы в случае его неисполнения. Только инициативу должен был взять на себя не суд, а подсудимый. Друзья Сократа уверяли: во многих полисах мудреца ждет радушный прием и защита верных своему слову гостеприимцев, нужно воспользоваться счастливым случаем. Но философ упрямо отклонял их предложения. Он сознательно обрек себя на смерть.

Ожесточенное смирение перед будущим характеризует последний месяц его жизни. Вроде бы Сократ не признает себя виновным, но он удивительно легко склоняется перед установлением сограждан, словно чувствуя вину куда более серьезную, чем неосторожные речи да неразборчивость в учениках. Ловкой риторикой ему, вероятно, удалось бы отвести от себя беду, но на суде он честен — в результате его оправдательная речь только подкрепляет обвинение.

Возьмем, например, упрек в измышлении новых богов. Как возражает Сократ? Очень неубедительно с точки зрения формы и прямо-таки вызывающе с точки зрения содержания. «Я признаю своего демона. Демон, очевидно, передает волю богов. Следовательно, я признаю старых богов». Во-первых, вера в демона не влечет еще за собой веры в Зевса или Афину. Даже напротив, демон подменяет собой их. Все это сказано ради красного словца — именно так афиняне отнеслись к аргументации Сократа.

Во-вторых, демон — божество индивидуальное. И в этом смысле он противоположен коллективным богам «народной» религии. Демон связан с одним человеком, а не со всеми. Из чего следует: один этот почитает себя избранным. В умах афинян еще свежа была память об Алкивиаде, Критии и прочих, поэтому подтверждение Сократом на суде своей избранности они восприняли как оскорбление.

Совершенно очевидно, что в процессе суда «общественное мнение» склонялось все больше в пользу обвинителей. И сам Сократ приложил к этому руку. Суд состоял из двух актов. Первое его заседание признало Сократа виновным. Во время второго определялась степень вины мудреца, т. е. форма наказания. Сократ, предчувствовавший исход и, в то же время, к нему стремящийся, с горькой иронией предлагает присудить себе бесплатный обед, а потом «трезво» соглашается на выплату небольшой пени. Такое предложение, конечно, суд не устраивает, оно еще больше возмущает афинян, и они приговаривают старого философа к смертной казни.

А после этого создают ему массу возможностей для побега, не желая жестокой развязки. Однако поразмыслите: что осталось бы от Сократа в европейской культуре в случае, если бы мудрец уступил уговорам? Может

быть я не прав, но мы помнили бы о Сократе лишь потому, что среди его учеников оказалось много замечательных людей.

Нет, смерть Сократа не была случайной. За решимостью исполнить закон стояло не детское желание «отомстить» афинянам, которые впоследствии пожалеют о случившемся. За стремлением к смерти скрывалось ощущение философом себя жертвой. Жертвой в сакральном смысле — т. е. абсолютно необходимой, дабы что-то важное в мире не было разрушено. Сократ искупал не свою вину, он искупал вину всей предшествующей философии. Его смерть возвращала ей достойное мудрости место, уважение и внимание со стороны людей: все то, что было утеряно софистикой. Жертва делала невиновным и самого Сократа. Отныне разрушительная деятельность его учеников будет восприниматься как трагедия, а не как злой умысел учителя.

Но самое главное заключалось в том, что Сократ своей смертью задал философии новую парадигму, определившую ее путь на тысячелетия. Его смерть доказала, что Абсолют — не амбивалентная «фюсис», а нечто четкое, определенное: преступить через него нет возможности. В отличие от «природы» он судит человека, является высшим критерием его поступков, причем суд этот происходит с точки зрения Блага, добродетели и разума. Смерть Сократа иерархизировала «бытие» досократических философов, так как только в иерархическом мире возможна абсолютная оценка. Только в иерархии существует безотносительное благо и безотносительное зло. Только иерархия дает возможность суждений о мире не по критерию соответствия его нашей мыслительной или художественной изоциренности, а с позиции более сложной и глубокой, той позиции, которую называют этической. И в этом смысле Сократова смерть — этический переворот в философии. Отныне проблемы Зла и Добра будут сопровождать поиски любого европейского мыслителя, даже принципиально выводящего из сферы мудрости этические вопросы.

Окончательно иерархическая картина мира сформируется, конечно, только в античном неоплатонизме. Однако уже ученик Сократа Платон вознесет над «данным нам в ощущениях» Космосом бытие идей, а над ним, в свою очередь, Солнце — Благо. Уже он начнет говорить о высших сферах бытия достаточно четким, членораздельным образом, пытаясь выразить этическое в логической форме (диалог «Парменид»), а логическое — в этической («Государство»). Но то же самое можно сказать и о «мегариках» — еще одной «сократической школе». В этот процесс вписывается и великий еретик от платонизма Аристотель.

Сократ не увел философию от «живого ощущения бытия», как утверждают иные хайдеггерианцы. Наоборот, он показал, что она посюсторонняя, что каждый человеческий поступок втягивается в ее сферу. Никогда до того она не была столь серьезна, глубока и могущественна, чем в мо-

мент принесения жертвы — смерти Сократа. И поэтому афинский мудрец был спокоен. Потому последние слова умирающего Сократа наполняют нас и печалью, и ощущением жизни. Они уничтожают обманчивую иллюзию временной перспективы, они вводят нас в круг непосредственных свидетелей акта жертвы, дарующего жертве бессмертие.

«Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте...»

А. Н. МУРАВЬЕВ

ЛОГОС И ДИАЛОГ: АНТИЧНАЯ МЫСЛЬ НА ПУТИ К ПЛАТОНУ

Влияние Платона на историческое развитие философии от Аристотеля до Гегеля настолько очевидно, что кажется не нуждающимся в доказательстве. Гораздо менее очевидна (прежде всего в силу неполноты и преимущественно косвенного характера дошедшего до нас материала) связь платоновской философии с предшествовавшими ей философскими учениями. Цель предлагаемой статьи — обратиться к истокам философии Платона и рассмотреть то содержание философствующей мысли греков, которое выступило необходимой теоретической предпосылкой и условием появления его классического идеализма.

Уже в самых первых, совсем незрелых своих явлениях возникающая античная философия обнаружила небезразличие к обыденному эмпирическому сознанию, которое она нарекла именем «мнение» (*δοξα*). О необходимости обуздания неразумности мнения говорил Фалес в известном стихотворении, обозначившим поворот человеческого духа к исследованию единого первоначала — природы вещей:

О многом говорить — не значит мнить разумно,
Единое отыскивать достойно мудреца.
Одно старайся выбрать, тем самым крепко свяжешь
Мужей болтливых речи, лишённые конца.¹

Другим выражением того же отношения была обязанность молчать во время обучения, которую брали на себя вступающие в школу Пифагора.

¹Diels H. *Fragmente der Vorsokratiker*. Thales, A1. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием в скобках номера свидетельства или фрагмента сочинений того философа, о котором идет речь. Древнегреческие тексты приводятся в переводе автора статьи.